

A magical night scene. In the foreground, a young boy in a dark jacket and shorts stands on a wet, reflective cobblestone path, looking away from the viewer towards a distant town. To his left is a tall, ornate street lamp with a glowing lantern and a circular sign below it. To his right is a large, multi-story stone building with several windows, some of which are lit from within. A clock face is visible on the upper part of this building. In the background, across a calm river, a large, illuminated clock tower with multiple spires and arches stands prominently. The sky is dark and filled with soft, wispy clouds, with a bright, full moon shining in the upper right corner. The overall atmosphere is mysterious and enchanting.

Светлая НОЧЬ

Чурилов М. В

Максим Чурилов

**Несколько мгновений одной
жизни - Том 1: Светлая ночь**

«Автор»

2026

Чурилов М. В.

Несколько мгновений одной жизни - Том 1: Светлая ночь /
М. В. Чурилов — «Автор», 2026

Иногда прошлое не исчезает. Оно ждёт — за поворотом дороги, в доме с глухими окнами, в комнате, где часы показывают невозможное время. Мальчик приезжает с родителями в маленький городок, который на первый взгляд кажется тихим и почти забытым. Здесь есть ярмарочная площадь, старый дом Матрёны Игнатьевны, поле за окраиной, лавка часовщика и комната под номером 23... Но чем дольше он остаётся в этом месте, тем яснее становится: город помнит его раньше, чем он сам успевает что-либо вспомнить. Было ли это наяву? «Светлая ночь» — мистическая и глубоко психологическая история о мальчике, утратившем связь с реальностью. Эта книга — начало трилогии о памяти, утрате и взрослении перед лицом тайны, рассказанной от лица букиниста, чья жизнь не менее интересна, чем истории, которые он старается сохранить. Детство кончается не тогда, когда человек становится старше, а тогда, когда впервые понимает: самое дорогое можно потерять навсегда — и всё равно быть обязанным жить дальше.

© Чурилов М. В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Лестница на Колокольной	5
Глава 1. Дорога в тумане	9
Глава 2. Дом с глухими окнами	17
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Максим Чурилов

Несколько мгновений одной жизни - Том 1: Светлая ночь

Пролог. Лестница на Колокольной

В тот вечер Павел Андреевич Волконский запер лавку раньше обыкновенного.

На Садовой уже зажигали фонари. Витрина его маленького магазина, где на табличке золотыми облупившимися буквами стояло «Книжный магазин П. А. В.», на несколько минут удержала в стекле его отражение: худое лицо, тёмные усталые глаза, воротник пальто, поднятый почти до подбородка. Отражение было похоже на портрет человека, которого можно встретить в старой книге между страницами, где когда-то забыли засушенный лист. Павел посмотрел на себя без интереса, проверил нижний засов, верхний крючок, второй замок — тот самый, который его покойный отец велел всегда поворачивать дважды, «чтобы совесть не скрипела», — и только тогда сунул связку ключей в карман.

В лавке за его спиной осталось тепло железной печки, слабый запах столярного клея, пыльных корешков и типографской краски. На рабочем столе лежал нож для обрезки, несколько книг, не дождавшихся оценки, и раскрытая ведомость, где он утром пытался вывести итог за неделю, но остановился посреди цифры. У Павла были дни, когда деньги казались ему оскорбительной подробностью его ремесла. Книги приходили к нему бедными, порванными, промёрзшими, иногда со следами мышиных зубов, а уходили уже по цене, с карандашной пометкой на форзаце, с местом в чужом шкафу. Он понимал необходимость торговли и всё же каждый раз испытывал лёгкий стыд, назначая цену тому, что в лучшие минуты казалось не вещью, а чьим-то уцелевшим голосом.

Постоянные покупатели любили его за молчаливость. Старый чиновник из соседнего дома однажды сказал, выбирая себе потрёпанного Карамзина: «У вас, Павел Андреевич, не лавка, а читальня для тех, кто не любит людей». Павел тогда улыбнулся, хотя комплимент был сомнительный. В нём, однако, было зерно правды: его лавка действительно принимала людей только до известного предела, а дальше начинала принадлежать книгам.

Он шёл по вечернему Петербургу с потёртой кожаной сумкой через плечо. В сумке лежали две недавние покупки — тонкий провинциальный сборник стихов и проповеди забытого священника, найденные на развале у Сенного рынка, — а ещё линейка, лупа, карандаш, записная книжка в клеёноччатой обложке и несколько ключей, для которых в приличном обществе не нашлось бы приличного названия. Павел называл их про себя «универсальными решениями» и старался не думать о юридической стороне дела. Он не крал; он спасал то, что всё равно собирались выбросить, сжечь или оставить гнить на чердаке.

На Колокольную улицу его тянуло уже несколько недель.

Дом стоял в городских книгах сухо и без всякой тайны: кирпичный, четырёхэтажный, с флигелями, службами, прежними владельцами, новыми жильцами и недоимками. Но для Павла эти сведения давно ничего не значили. Старые дома, как старые люди, перестают принадлежать своим документам. Их истинная биография хранится в трещинах, в запахе лестниц, в пятнах на потолке, в вещах, которые никто не решился вынести. Дом на Колокольной он знал с молодости. Ещё учеником, когда только приглядывался к букинистическому делу, он приходил сюда с домовладельческим приказчиком разбирать бумаги после очередного переезда или смерти. Тогда на чердак свозили сундуки, рамки без картин, мебель с вывернутыми ножками, детские санки без полозьев и целые ящики семейной макулатуры, где между счётами

за керосин и гимназическими тетрадами иногда попадались письма, дневники, старые книги с владельческими записями.

Дом с тех пор осел, потемнел, облупился, но не умер. Павел время от времени проходил мимо и почти всякий раз думал одно и то же: посмотрим, что ещё держится за жизнь.

Снег в тот вечер не падал, а висел в воздухе мелкими сухими искрами. Невский гудел где-то в стороне, за кварталами, но на Колокольной этот гул становился глухим и далёким, как чужой разговор за стеной. Павел остановился перед подъездом и провёл ладонью по деревянной панели двери. Там, у самого низа, доска давно дала косую трещину; её когда-то стянули железным гвоздём, потом покрасили, потом краска вспухла и сошла чёрными лепестками. Пальцы безошибочно нашли это место. Для Павла в таких касаниях было больше доверия, чем в приветствиях: рука убеждалась, что мир ещё не совсем переставлен без его ведома.

Дверь открылась с тяжёлым вздохом. Подъезд встретил его холодной известью, сырой штукатуркой, застарелым табачным дымом и кислой нотой варёной капусты, въевшейся в стены за десятилетия зимних кухонь. Где-то наверху прошли шаги, потом щёлкнул замок, за трубами коротко всхлипнула вода. Лампочка под высоким потолком горела жёлто и плохо, будто не светила, а вспоминала свет.

Павел снял шапку. Делал он это не из почтения к дому, а по привычке, вынесенной ещё из детства в Тульской губернии: под крышей не ходят с покрытой головой. Потом взялся за перила. Металл был мокро-холодный, дерево под ладонью — шершавое, с голыми проплешинами там, где облезла краска. Лестница поднималась круто, не столько приглашая, сколько испытывая. Павел шёл не спеша; правое колено, когда-то сорванное на обледенелом тротуаре у Обводного канала, напоминало о себе на каждом повороте. Он давно смирился с этой болью и даже иногда думал, что лёгкая хромота придаёт человеку вид занятости судьбой. — Ещё держишься, — сказал он тихо.

Лестница, конечно, не ответила. Только наверху дрогнула дверная пружина, и звук тот был похож на короткое, осторожное подслушивание.

Над третьим пролётом лампочка уже не горела. Стекланный пузырь висел тёмный, в паутине. Здесь воздух менялся: к подъездной сырости примешивалась сухая пыль чердаков, мышинный след, старая древесина и то особое молчание, которое бывает у вещей, переживших своих хозяев. У дверцы на чердак висел новый дешёвый замок, блестящий неуместно, как свежая пломба во рту покойника. Павел достал связку ключей. Первый не подошёл. Второй вошёл, но не повернулся. Третий, плоский, с чуть согнутым кончиком, провернулся сразу. Замок щёлкнул негромко, даже доверчиво.

Чердак открылся темнотой.

Он нащупал фарфоровый выключатель у косяка. Под скатом крыши мигнула лампочка, дрогнула, разгорелась тусклым кругом. Свет не столько осветил помещение, сколько выдал его очертания: балки, тёмные от времени; груды поломанных стульев; перевёрнутый шкаф; связки досок; старые рамы без стёкол; под покатой стеной — ряд сундуков, больших и малых, одни распахнутые, другие закрытые наглухо, будто ещё продолжали сторожить чью-то последнюю волю.

Павел сделал несколько шагов внутрь. Пол отвечал осторожным поскрипыванием. Он знал эти доски: здесь можно, там нельзя, вот это место лучше обойти. В детстве он любил чердаки и амбары именно за то, что в них вещь переставала быть собственностью. В комнате она служит, украшает, мешает, занимает место; на чердаке она возвращается к своей немой сути и лежит среди других таких же отставников, ожидая не хозяина уже, а судью или свидетеля.

Ближайший сундук был приоткрыт. Крышка поднялась тяжело; смола в пазах за годы затвердела, и дерево сопротивлялось, будто не хотело впускать воздух. Изнутри потянуло старой тканью, мышами и бумагой, когда-то промокшей, потом высохшей и навсегда сохранив-

шей в себе память воды. Поверх свитеров, шарфов и простынь лежали книги в мягких потрёпанных обложках и несколько тетрадей.

Книги Павел только перебрал глазами: гимназическая словесность, история, благочестивое чтение прошлого века — ничего редкого, хотя и не мусор. Тетради же заставили его задержаться.

Они лежали не как школьные вещи, брошенные вперемешку, а аккуратной стопкой, словно кто-то перед тем, как оставить их, всё-таки выровнял края. Верхняя была в потемневшем холщовом переплёте. На обложке не значилось ни имени, ни названия — только римская единица в правом верхнем углу. Цифра была выведена твёрдой взрослой рукой: не ученической, не канцелярской, а той рукой, которая пишет не для проверки и не для отчёта.

Павел поднял тетрадь. Бумага под обложкой оказалась плотной, хорошей. Сквозь холст чувствовался напор пера: писавший не царапал страницу, а шёл по ней уверенно, с нажимом, будто боялся не ошибиться, а не успеть. Он раскрыл первые листы.

Почерк был ровный, красивый, без жеманства. Чернила почти не выцвели. На первой странице стояла дата — конец девятнадцатого века, число и месяц были написаны разборчиво, год слегка расплылся, но угадывался. Ниже, вместо заглавия, шли два слова: «Светлая ночь». А под ними — мелкая приписка: «Записано со слов...» Дальше имя было зачёркнуто. Не зачёркнуто поспешно, как вычеркивают ошибку, а уничтожено терпеливо: толстая чёрная полоса легла поверх букв в несколько слоёв, не оставив ни щели, ни намёка.

Это уже было не забвение. Это была воля.

Павел перевернул страницу и прочёл первые строки. Там были дорога и туман. Не описание даже, а дыхание утра, когда человек ещё не знает, куда его ведут, но уже понимает, что назад не вернётся прежним. Он поймал себя на том, что наклонился ниже, почти уткнулся носом в страницу. Чердачная лампа трепетала над ним слабым жёлтым пятном; внизу, за перекрытиями, жил дом, звенела посуда, кашлял кто-то за стеной, плакал ребёнок. А здесь, среди сундуков и мёртвых стульев, чужая фраза вдруг оказалась живее всего вокруг.

Читать на чердаке было нельзя. Не из суеверия — Павел не любил этого слова, — а из простой тактичности. Некоторые вещи нельзя разворачивать где попало. Письмо, написанное перед смертью, не читают на ветру; молитвенную книгу не листают грязными пальцами; рукопись, которая столько лет пролежала в темноте, имеет право на стол, лампу и тишину.

Он убрал тетрадь в сумку, поверх стихов и проповедей, и ещё раз оглядел чердак. Сундуки, санки без полозьев, шкаф, журналы, рамки, пыль — всё это теперь отступило, стало фоном. Вещь, ради которой он пришёл, уже лежала у него на плече, чуть оттягивая ремень сумки. Павел осторожно закрыл сундук и не сразу отпустил крышку: ладонь задержалась на тёмном дереве, как на лбу больного.

На лестнице он остановился у узкого окна между третьим и вторым этажами. На подоконнике стоял маленький латунный подсвечник без свечи. Павел помнил его ещё прежним, не таким чёрным от пыли. Кто поставил его здесь, зачем оставил, почему ни один дворник не унёс — он не знал. Подсвечник был тонкой работы, с изящной чашечкой и выгнутой ручкой; вещь не богатая, но сделанная человеком, который уважал форму. Павел стёр с края пыль. Латунь глухо блеснула. — Вернусь, — сказал он.

На этот раз он не был уверен, кому именно обещает: дому, сундукам, подсвечнику или той зачёркнутой строке, где когда-то стояло имя.

Снег на улице пошёл гуще. Фонари делали из него косые световые столбы, и Павел ускорила шаг, не из страха опоздать — его никто не ждал, — а потому что сумка у плеча вдруг стала вещью не тяжёлой, а настойчивой. Иногда книга действительно находит человека раньше, чем человек находит её. Павел не любил эту мысль произносить: слишком уж легко она становилась пошлой в чужих устах. Но в его ремесле были совпадения, которые, повторяясь, теряли право называться случайностью.

В лавке было теплее, чем он ожидал. Угли в печке ещё дышали, железо отдавало мягкий жар. Он зажёл лампу над рабочим столом, снял пальто, повесил шапку на гвоздь, осторожно вынул тетрадь и положил её перед собой. Некоторое время он только смотрел на холщовую обложку. Потом отодвинул в сторону карандаш. Вмешиваться в чужой текст он пока не хотел даже пометкой.

Страница открылась с лёгким хрустом. Чернила в ламповом свете казались почти синими. Павел прочёл дату, потом снова «Светлая ночь», потом чёрную полосу на месте имени. Она раздражала его сильнее, чем могла бы раздражать пустота. Пустота ничего не обещает. Зачёркнутое имя обещает и отнимает одновременно.

Он начал читать.

Первые фразы легли на воздух лавки тихо, без театральности. За стеной прошёл поздний трамвай; сверху кто-то тяжело переставил стул; в печке щёлкнул уголёк. Но все эти обычные звуки быстро отодвинулись, стали похожи на шум моря, слышимый из другой комнаты. В тетради шла дорога. Поднимался туман. Вставали отец и мать. Дом, ещё тёплый от ночи, готовился отпустить тех, кто в нём жил.

Павел читал медленно. Он не глотал страницы, как глотают занимательный роман, не выискивал выгоды, не прикидывал цены. Иногда останавливался, возвращался к строке, прислушивался к странному несовпадению: почерк был чужой, время — чужое, судьба — чужая, а чувство узнавалось так, будто всё это уже когда-то происходило с ним самим, только он забыл.

Часы над дверью отбили полночь не сразу. Сперва механизм сухо кашлянул, потом между третьим и четвёртым ударом образовалась странная пауза — совсем короткая, но такая точная, будто кто-то вынул из ночи тонкий ломтик времени и вернул его уже не туда. Павел поднял голову. За окном снег залепил нижние углы стёкол, улица стала бесцветной и глухой. Он перевернул ещё одну страницу и понял, что прочёл только начало. Тетрадь была тонкой, но обещала не рассказ, а переход — ту редкую историю, где важны не происшествия сами по себе, а то, что они делают с человеком, пока он думает, что просто идёт по дороге.

Он закрыл её, положил ладонь на обложку и некоторое время сидел неподвижно. Никакого восторга в нём не было. Восторг слишком шумен для настоящих находок. Было другое: строгая, почти болезненная ясность, что теперь эта вещь доверена ему. Не куплена, не присвоена, не спасена даже — доверена. А доверие старых бумаг требует больше, чем сухой шкаф и правильная температура. Оно требует человека, который не станет торопиться.

Павел погасил лампу не сразу. Сначала записал на отдельном листке: «Колокольная. Чердак. Сундук у левого ската. Холщовая тетрадь I. Заглавие: Светлая ночь. Имя рассказчика уничтожено». Записал и остановился. Последнее слово показалось ему слишком резким. Он зачеркнул «уничтожено» и написал ниже: «скрыто».

Потом запер лавку, проверил замки и вышел в ночь.

Город спал не полностью; Петербург редко спит до конца. Где-то ещё стучали копыта, где-то хлопнула дверь, из-за угла донёсся пьяный смешок и сразу пропал в снегу. Павел шёл к своей комнате на Гороховой, чувствуя у плеча тетрадь. В ней лежала не ценность в торговом смысле и не редкость, за которую охотятся коллекционеры. В ней лежало начало чужого голоса.

А такие голоса, если их однажды услышал, уже нельзя оставить на чердаке.

Глава 1. Дорога в тумане

Я проснулся до петухов.

За окном уже не было ночи в её полной, чёрной власти, но и утро ещё не решалось назвать себя утром. Свет лежал где-то за стенами, за садом, за мокрыми полями, как молоко в закрытом кувшине: чувствуешь, что оно есть, но не видишь. Я лежал на спине и смотрел в потолок, где из темноты проступал старый брус. С детства я узнавал по нему дом. Даже проснувшись среди болезни, жара или дурного сна, я сперва искал глазами этот потемневший выступ, и только потом понимал: я у себя, меня ещё не унесло.

Я помню, как однажды, ещё совсем маленьким, проснулся ночью от грозы и решил, что дом оторвался от земли и плывёт куда-то вместе со всеми нами. Тогда отец вошёл с лампой, поднял меня на руки и сказал: смотри на брус, он никуда не ушёл. С тех пор я верил не столько стенам, сколько этой тёмной полосе над собой. В то утро брус тоже был на месте, но прежней уверенности уже не давал.

В комнате было холодно. Не зимне, не зло, а по-дорожному холодно — так остывает дом, когда люди в нём уже внутренне собрались уйти. Печь выдохлась к рассвету, зола под чугунной плитой, должно быть, только серела; одеяло, колючее, бабушкиной работы, давило мне на грудь, будто кто-то положил сверху осторожную, но тяжёлую ладонь. Я не хотел вставать. Вставший человек уже принадлежит дню. Лежащий ещё может притвориться, что ничего не началось.

На стуле у кровати лежала моя одежда, приготовленная с вечера. Уже одно это было неприятно: обычно я сам искал по утрам рубашку, ворчал на пропавший чулок, путался в рукавах, а тут всё ждало меня в правильном порядке. Вещи, заранее сложенные чужими руками, всегда немного похожи на приговор. Они знают о тебе больше, чем ты успел решить сам.

Из соседней комнаты доносились звуки приготовления. Стул коротко скребнул по полу. Звякнула чашка — тонко, почти виновато. Прошуршало материнское платье. В нашем доме всё слышалось слишком отчётливо: стены были тонкие, половицы помнили каждую ногу, двери не умели хранить тайну. Но то утро было особенным ещё и потому, что родители почти не говорили. Они двигались, передавали друг другу вещи, расходились и сходились у стола — и весь их разговор состоял из этих движений. Люди, долго прожившие вместе, иногда говорят не словами, а тем, кто первым берёт нож, кто ставит чашку ближе к краю, кто не спрашивает, потому что уже знает ответ.

За несколько дней до отъезда дом стал осторожнее. Отец убирал бумаги в ящик и замолкал, если я входил. Мать стирала чистое бельё, хотя в сундуке и так лежало достаточно. На ужин ставили привычные блюда, но ели молча, словно вкус мог выдать то, что не следовало произносить. Я чувствовал: взрослые не скрывают от меня одну тайну — они скрывают саму необходимость тайны.

Я поднялся. Доски под босыми ступнями были ледяные; я невольно поджал пальцы и, как всегда, рассердился на себя за эту детскую слабость. Оделся быстро: рубашка, штаны, жилет, все пуговицы до последней. Отец приучил меня застёгиваться полностью — «незастёгнутый человек распадается», говорил он. В потемневшем зеркале мелькнуло моё лицо: бледное, вытянутое, ещё сонное. Я не стал в него вглядываться. По утрам своё лицо всегда кажется чужим, а в день дороги — особенно.

Отец сидел за столом и перебирал бумаги.

Их было немного, листов десять, может быть, двенадцать, но он обращался с ними так, будто от их порядка зависело больше, чем право на проезд или подпись какого-нибудь чиновника. Он выравнивал углы, проводил большим пальцем по краю, пересчитывал, снова раскладывал и снова собирал. Не читал: содержание он знал. Он проверял не слова, а готовность.

У него на пальцах всегда держались чернила — старые пятна, вьевшиеся в кожу и ставшие почти родинками. По этим пятнам я с детства понимал, что отец принадлежит к миру, где вещи решаются не силой руки, а силой записи. Хотя, если нужно было, топор он держал не хуже любого мужика.

Между листами виднелся край конверта с обломанной сургучной печатью. Я не знал, от кого он, и не спросил. В нашем доме письма принадлежали тому, кто их получал; чужое имя на бумаге было такой же границей, как чужой порог. Но красная крошка сургуча на столе почему-то запомнилась мне сильнее самих документов. В ней было что-то окончательное: печать уже сломана, ответ уже начался.

Мать у другого края стола завязывала дорожный узел. Полотно натянулось туго, из-под него проступали углы: хлеб, бельё, маленький пузырёк с горькой настойкой, без которой она не выпускала никого дальше соседней деревни. Руки её работали быстро и безошибочно. Она не смотрела на узел, потому что знала его на память: сколько раз она собирала такие узлы отцу, себе, мне, соседке, покойной бабке — всем, кто уходил и кому следовало дать с собой хоть малую часть дома.

Она завязала один узел, потом, подумав, развязала и завязала иначе. Это маленькое промедление выдало её сильнее, чем если бы она заплакала. Мать редко ошибалась в хозяйственных движениях; её руки помнили всё. И если они вдруг передумывали, значит, передумывала не рука, а сердце, которому нельзя было позволить сказать своё слово вслух.

Рядом лежала молитвенная книга в тёмной коже.

Обычно она хранилась в глубине материнского сундука, вместе с вещами, о которых не говорили при посторонних: венчальным платком, локоном детских волос, письмами от бабушки, пахнувшими пылью и лавандой. Книга появлялась только перед дорогой. Мать не молилась над ней вслух, не целовала переплёт, не объясняла её силы. Просто клала в узел и говорила: так спокойнее. Мне тогда казалось странным, что спокойнее может стать не от человека, не от денег и не от доброй лошади, а от книжки, которую никто не раскрывает.

О происхождении этой книги у нас говорили уклончиво. Мать однажды сказала, что она пережила два пожара и одну продажу имущества, но каким образом книга умеет переживать пожар, я тогда не понял. На внутренней стороне переплёта, если приглядеться, проступала тёмная круглая отметина — то ли след воска, то ли ожог. Мне казалось, книга не столько хранила молитвы, сколько сама нуждалась в охране.

Я взял её со стола. Кожа была шероховатая, тёплая в середине, холодная по краям. Страницы вели себя по-разному: одни ломались под пальцами, как сухие листья, другие ещё держали упругость и будто сопротивлялись взгляду. На полях кое-где проступали карандашные слова. Почерк был не материнский — не круглый, не покорный; и не отцовский — не угловатый, не торопливый. Может быть, бабушкин. Может быть, чей-то ещё, прежний, из тех людей, которые жили до нас и оставили после себя только вещи с неясными следами рук.

— Положи, — сказала мать, не оборачиваясь. — Ей с нами идти.

Она сказала о книге «ей», как говорят о живой спутнице, и я не удивился. В нашем доме многие вещи имели свою тихую волю. Дверь не хлопала — не потому, что кто-то велел, а потому, что дом не любил хлопков. На подоконник не садились — там лежал свет. Отцовский нож никто, кроме него, не брал. А эта книга ходила с нами в дорогу.

Теперь, вспоминая то утро, я думаю, что вещи в нашем доме были не одушевлены — нет, это было бы слишком просто и по-детски, — а включены в общий порядок жизни. У каждой имелось своё место, своя минута, свой предел дозволенного. Человек, нарушивший этот порядок, казался бы нам не грешником и не преступником, а невежей, который в темноте задел плечом больного.

Я положил её обратно. Мать спрятала книгу в узел, затянула последний угол и только тогда посмотрела на меня. Взгляд её задержался на моём воротнике. Она подошла, завязала

шарф ту же, чем завязал бы я сам, и провела пальцами под подбородком, проверяя, не оставила ли щели для холода.

— Горло береги, — сказала она. — В дороге горло первое сдаёт.

Во всей предстоящей неизвестности она выбрала горло — эту тонкую, тёплую, уязвимую полоску между головой и грудью — и назначила его главным местом опасности. Такова была её забота: она редко говорила о страхе прямо, зато умела до боли туго завязать шарф.

В сенях пахло мукой и мокрой кожей. Муку рассыпали накануне, когда пекли хлеб на дорогу; белая пыль ещё держалась на лавке, на половицах, на тёмных щелях стены. Отец застёгивал широкий ремень с потускневшей медной пряжкой. Каждый раз, когда язычок входил в отверстие, он прислушивался не к звуку, а к телу: не жмёт ли, не сползёт ли, выдержит ли день. Предметы в его мире делились не на красивые и некрасивые, а на надёжные и ненадёжные. Первым он доверял молча, вторым не прощал существования.

Отец, застегнув ремень, проверил внутренний карман пальто. Бумаги там легли плоско, не топорщились. Он ударил ладонью по груди — не сильно, как будто удостоверился в собственном сердце, — и только после этого взял палку, стоявшую у двери. Палка была ясенёвая, с потёртой рукоятью. Отец не нуждался в ней для ходьбы, но в дороге предпочитал иметь в руке вещь, которая продолжает руку.

— Пора, — сказал он.

Слово было обращено не к нам, а к самой минуте. Пока оно не прозвучало, ещё можно было медлить, поправлять платок, искать несуществующую вещь, задерживаться у печи. После него всё стало окончательным.

Отец вышел первым, снял крючок, откинул засов, придержал дверь. Мать прошла за ним с узлом, прижатым к груди. Я вышел последним и опустил скобу. Дверь закрылась тихо. В нашем доме не хлопали дверьми никогда — даже в ссоре, даже в спешке. Мне казалось, что где-то в стенах живёт старая трещина, которой нельзя напоминать о её существовании.

Запах дома ударил мне вслед уже снаружи — тёплая зола, хлеб, старое дерево, чуть кислая влажность сеней. Я никогда прежде не думал, что у дома может быть один общий запах, как у человека. Пока живёшь внутри, он распадается на отдельные подробности; стоит выйти с узлом и закрыть дверь — и всё соединяется, становится почти телом, которое ты покидаешь.

Я оглянулся на окна. Они были тёмные, слепые, и от этого дом вдруг показался мне не оставленным, а затаившимся. Дым из трубы уже не шёл. Сад за избой растворился в тумане; только верхушки яблонь торчали над белой мутью, как пальцы, не успевшие спрятаться под одеяло. Мне захотелось вернуться за какой-нибудь забытой мелочью — за ножиком, за тетрадью, за чем угодно, — лишь бы открыть дверь ещё раз.

На улице стоял туман.

Не лёгкая летняя дымка, которая тает от первого солнца, и не городской чад, смешанный с дымом и речной сыростью, а плотная белая толща, ровная и неподвижная. Она лежала низко, до колен, в ложбинах поднималась почти до пояса, обнимала изгороди, прятала нижние ветви деревьев. Всё, что обычно имело основание, корень, опору, теперь будто начиналось с середины. Стволы торчали из белизны, как обгоревшие рукояти. Забор, канава, соседский сарай — всё было на месте и всё стало ненадёжным.

Самое странное было не то, что туман скрывал даль, а то, что он менял значение близкого. Калитка, до которой было десять шагов, казалась чужой. Колодец за забором исчез полностью, но его влажная прохлада всё равно тянулась к нам из белизны. Даже звук собственного дыхания возвращался не сразу, будто проходил через мягкую ткань и только потом касался уха.

Я любил туманы и боялся их. Отец когда-то учил меня различать их: речной стоит клубами и пахнет холодной водой; луговой стелется низко и держится, пока солнце не поднимется над травой; лесной цепляется за ветви и долго не уходит. Этот не был ни тем, ни другим,

ни третьим. Он казался приготовленным заранее. Будто ночью кто-то расстелил его по нашей дороге, чтобы мы не видели лишнего — ни того, откуда уходим, ни того, куда должны прийти.

В детстве я считал туман добрым обманом: он позволял представить, что за соседским сараем начинается не пустырь, а море, не поле, а другая страна. Но в то утро воображение не радовало. Слишком многое действительно исчезло. Там, где раньше стоял знакомый мир, теперь было молочное отсутствие, и всякая фантазия казалась не игрой, а попыткой защититься от него.

Первые шаги я мог бы сделать с закрытыми глазами. Справа начинался огород, где весной сажали картошку. За ним стоял сарай с провалившейся крышей. Слева шла канава, сухая осенью и зелёная от ряски весной. Сейчас всего этого почти не было видно, но ноги помнили. Они знали, где камень, где выбоина, где нужно чуть укоротить шаг. Дом ещё ощущался за спиной — не глазами, а кожей, как тепло ладони, которую только что отпустил.

Мы шли молча: отец впереди, мать на полшага за ним, я рядом с матерью. Этот порядок никто не назначал, но он возник сам. Отец выбирал дорогу; мать несла то, что оставалось от дома; я шёл между их решениями и их молчанием. Иногда мне хотелось спросить, куда именно мы идём, кто ждёт нас в городе, почему нельзя было остаться ещё на день. Но вопрос был бы неуместен. В последние дни дом жил так, будто ответ уже произнесли в моё отсутствие. Родители говорили тише, вещи убирались тщательнее, хлеб пёкся плотнее, чем обычно. Всё объяснялось делом. А в нашей семье дело всегда считалось честнее объяснения.

Иногда отец чуть поднимал палку и касался ею земли впереди, проверяя не столько дорогу, сколько её настроение. Этот жест успокаивал меня. Пока палка звучала сухо, мир оставался твёрдым. Если бы она вдруг вошла в землю без звука, я, наверное, остановился бы прежде, чем отец успел приказать.

Я тогда ещё не умел различать, где кончается детское послушание и начинается трусость. Мне казалось, что не спрашивать — значит быть взрослым. Позднее я понял: взрослые тоже часто молчат не от силы, а от страха услышать ответ. Но в то утро молчание держало нас крепче верёвки. Стоило заговорить — и дорога, возможно, рассыпалась бы на отдельные причины, слишком слабые каждая поодиночке.

Под ногами хрустела подмёрзшая земля. Трава, прибитая первым морозцем, шептала у обочины. Наше дыхание выходило белыми облачками и тут же исчезало в общей белизне. Постепенно туман съел не только расстояние, но и время. Часы остались дома над комодом; здесь минуту нельзя было отличить от другой. Мы могли идти час или пять минут — и оба ощущения были бы одинаково правдивы.

— Не сворачивай, — сказал отец, не оборачиваясь. — Держись середины. Справа мокро.

Он не произнёс слово «болото» с угрозой, и оттого оно прозвучало сильнее. Я знал то место: летом оно прикидывалось лугом, а под травой держало воду и жидкую, тёмную землю. Однажды отец показывал мне границу твёрдого и зыбкого. С виду они ничем не отличались. Тогда я впервые понял, как мало нужно, чтобы шаг оказался не туда: не преступление, не ошибка, не дурная воля — всего лишь ступня, поставленная на ладонь земли, которая не собиралась тебя держать.

Отец не любил преувеличивать опасность. Он говорил о ней сухо, почти буднично, и потому его предупреждения не выветривались из памяти. Волк, буря, болезнь — всё это в рассказах других людей становилось почти театром. У отца же опасность была делом места, веса и ошибки. Земля не злится, вода не мстит, лес не замышляет; но поставь ногу неверно — и равнодушие мира сделает своё.

Я невольно придвинулся ближе к матери. Она тут же коснулась моей руки кончиками пальцев — не взяла, не сжала, только проверила, здесь ли я. Её любовь редко становилась объятием. Она жила в поправленном воротнике, в хлебе, завёрнутом в чистую тряпицу, в том, как

она на людной улице оглядывалась прежде, чем перейти на другую сторону. И в этом лёгком касании тоже была вся она: не мешать идти, но знать, что ты не пропал.

За последними огородами дорога провалилась в низину. В колеях стояла вода, схваченная тонким льдом. Лёд был ещё не зимний, не крепкий, а молодой, стеклянный; он ломался под каблуком с сухим щелчком и сразу темнел. Я выбирал середину между следами телег, где поверхность казалась ровнее. Каждый раз, когда подошва скользила, сердце коротко ударяло в грудь. Отец шёл впереди ровно, не ускоряясь. Мать на открытых местах, как всегда, чуть прибавляла шаг. Она не любила пространства без стен, заборов и деревьев; широкий мир казался ей местом, которое нужно пройти, пока тебя не заметили.

Мать на этом участке молчала особенно упорно. Узел в её руках не качался: она держала его так, будто внутри был не хлеб и не бельё, а маленький огонь, который нельзя погасить. Я видел, как побелели костяшки её пальцев. Она боялась не льда, не воды и не сторожа впереди. Боялась, думаю теперь, открытого места, где человек целиком виден небу.

Речку мы сперва услышали носом. В тумане вдруг появился чистый холодок — не сырость земли, не мокрая трава, а запах бегущей воды. Потом донёсся звук: вода шла по камням, переговаривалась с корнями, смеялась где-то внизу так тихо, что это скорее угадывалось, чем слышалось.

Мост возник почти вплотную. Старый, деревянный, почерневший от дождей, с перилами, отполированными руками до гладкости кости. Он не казался ни красивым, ни прочным в новом смысле слова, но в нём была усталость вещи, которая слишком долго служила, чтобы теперь вдруг отказаться. Мы ступили на настил почти одновременно. Доски ответили протяжным скрипом — не жалобой, а голосом. Под щелями темнела вода; туман лежал над ней тоньше, и иногда можно было увидеть, как течение режет белизну узкими тёмными полосами.

На середине моста мать задержалась на одно дыхание. Не остановилась — отец этого не любил, — а именно задержалась, будто её шаг на миг стал тяжелее. Я посмотрел вниз сквозь щель между досками и увидел не воду даже, а тёмное движение под белой кожей тумана. Тогда мне показалось, что мы переходим не речку, а какое-то узкое место между прежним и будущим.

Река была первой вещью за это утро, которая не казалась спрятанной. Она не открылась целиком, но её движение чувствовалось сквозь туман. Вода не сомневалась, куда ей течь. Ей не требовались бумаги, узлы, молитвенники, объяснения. Это было обидно и утешительно одновременно: рядом с нами существовало нечто, что шло своим путём без страха и без памяти.

Я провёл ладонью по перилу. Дерево было холодное, но в глубине его как будто хранилось чужое тепло: тысячи ладоней, прошедших здесь до нас, оставили не следы даже, а согласие. Если бы я верил в просьбы к вещам, я попросил бы у моста лёгкой дороги. Но я тогда считал себя человеком разумным, не склонным к суевериям, и потому только глубже вдохнул речной холод и пошёл дальше.

У заставы нас ждал сторож.

Он стоял у будки, укутанный в старый тулуп, из которого торчали красный нос, седая щетина и выцветшие, удивительно внимательные глаза. В руке он держал фонарь, хотя свет уже серел в тумане и фонарь был почти не нужен. Видно, он держал его не ради света, а ради службы: есть люди, которым предмет помогает оставаться тем, кем они назначены.

У сторожа за спиной чернел шлагбаум — простая жердь на перекладине, но в тумане она выглядела важнее, чем была. До неё дорога ещё могла притворяться деревенской тропой. За ней начиналось пространство, где спрашивают не кто ты в доме, а куда направляешься и с какой целью. Я почувствовал, как отец чуть выпрямился. У каждого человека есть осанка для своих и другая — для чужих.

— Рановато, — сказал он, когда мы подошли.

Голос был хриплый, надтреснутый, но не злой. Так звучат ворота, которые каждый день открывают и закрывают одними и теми же руками.

— Дорога длинная, — ответил отец. — Лучше начинать свежим шагом.

Сторож поднял фонарь и осмотрел нас по одному. На отце его взгляд задержался как на человеке, с которым можно говорить делом. По матери скользнул осторожно: платок, узел, лицо, не обещающее лишних слов. На мне остановился дольше. Мне стало неприятно, но не страшно. Он смотрел не с любопытством и не с подозрением, а будто прикидывал: сам дойдёт или сляжет, мальчик ещё или уже годится в свидетели собственной судьбы.

Меня всегда тяготили взгляды взрослых мужчин, потому что в них почти никогда не бывало простого любопытства. Они будто примеряли тебя к будущему труду, службе, войне, долгу, к каким-то грубым меркам, которых ты ещё не знаешь, но которым уже не соответствуешь. Сторож смотрел не жестоко, однако после его взгляда я ощутил свои руки слишком тонкими, а шарф — слишком материнским.

— Куда держите?

Отец помолчал ровно столько, чтобы стало ясно: он выбирает меру правды.

— В город за полями, — сказал он. — К людям.

Сторож не переспросил ни названия города, ни имён. Может быть, он привык, что на дороге люди берегут свои причины крепче, чем деньги. Может быть, ему и не нужно было знать. Его дело было стоять на границе и видеть, как одни проходят туда, а другие обратно.

Слова «к людям» прозвучали странно. Разве мы до сих пор жили не среди людей? Были соседи, лавочник, батюшка, приезжий доктор, бабы у колодца, мужики у кузницы. Но отец произнёс это так, будто люди находились именно там, за полями, а всё, что оставалось позади, было только преддверием человеческой жизни. Мне стало стыдно за это чувство, но я вдруг подумал: может быть, нас ведут не в город, а на суд.

— За полями у каждого свой город, — сказал он наконец.

Фраза эта тогда показалась мне простой дорожной поговоркой, из тех, что взрослые проносят, когда не хотят молчать совсем. Позднее я не раз возвращался к ней. Есть слова, которые при первом слухе кажутся пустыми, а потом годами открываются, как ящик с двойным дном.

Сторож отступил и махнул рукой. Мы прошли.

После заставы дорога изменилась. Не сразу и не видимо, но я почувствовал это ногами. До будки мы ещё шли по краю своего мира; за будкой началось место, где нас никто не обязан был знать. Туман то сгущался до ватной стены, то редел, открывая тёмные пятна кустов, скошенные крыши вдали, чёрные пальцы ветвей. Где-то лаяла собака. Лай был глухой, но живой, и от него странно полегчало: значит, за белой завесой всё ещё были дворы, печи, люди, которые ругают собак и ставят воду на огонь.

Я хотел спросить отца, часто ли он проходил здесь раньше, но вспомнил материнское «не отставай» и проглотил вопрос. Вопросы, если их долго держать во рту, становятся горькими. Они уже не ищут ответа, а только напоминают о своём существовании. Так во мне с утра накопилось несколько таких горьких слов, и каждое мешало дышать не хуже шарфа.

После заставы никто не оглянулся. Оглянуться значило бы признать границу настоящей, а отец не любил признавать власть того, что можно пройти ногами. Я всё же почувствовал спиной будку, сторожа, фонарь, его фразу. Некоторые слова не идут рядом с тобой; они остаются позади и оттуда тянут, как нитка, привязанная к подкладке пальто.

В одной ложине трава стояла почти по пояс — высокая, жёсткая, не улёгшаяся под заморозками. Она шевелилась без ветра, покачивалась, как будто по ней проходили невидимые волны.

— Почему она движется? — спросил я у матери.

Мать только кивнула вперёд: не отставай.

— Трава работает, — сказал отец. — Делит время. У неё тоже своя мера.

Я не стал уточнять. Отец часто говорил так: вроде бы о траве, воде, дороге, а на самом деле о чём-то, что нельзя сразу взять умом. В детстве меня это раздражало; мне хотелось прямых ответов. Позднее я понял, что прямой ответ иногда закрывает вещь, а загадочная фраза оставляет её жить.

Эта отцовская манера раздражала меня ещё и потому, что мать её понимала. Она не улыбалась, не переспрашивала, не требовала объяснений. Между ними проходил какой-то взрослый подземный ход, куда мне входа не было. Я шёл рядом и чувствовал себя то лишним, то главным — как всякий ребёнок в семейной беде, о которой ему не рассказывают, но ради которой его, возможно, и ведут.

Лес начался незаметно. Сначала из тумана вышло одно дерево, потом другое, потом их стало слишком много, чтобы продолжать называть это полем. В лесу туман вёл себя иначе: не лежал ровно, а цеплялся за ветки, висел ключьями, прятался между стволами. Звуки стали ближе и суше. Где-то падала капля. Где-то под корой скрипело дерево. Наши шаги перестали быть шагами по дороге и превратились в осторожное участие в чужой тишине.

Птицы молчали. Это молчание было неправдоподобнее тумана. В обычное утро лес всегда чем-нибудь выдаёт себя: треском, свистом, сухим спором в ветвях. Здесь же даже ворона не каркнула. Казалось, мы вошли не в лес, а в его изображение, где художник тщательно выписал стволы и ветки, но забыл впустить звук.

Вместе с лесом пришёл иной холод. В поле холод обступал равномерно, а здесь касался пятнами: мокрой веткой по щеке, каплей за воротник, сыростью от мха. Запах тоже изменился. Вместо земли и воды потянуло корой, грибной трухой, старой листвой, в которой уже началась медленная работа распада. Лес ничего не скрывал специально; он просто был слишком густ, чтобы человек мог сразу взять его взглядом.

Отец шёл всё тем же ровным ходом, будто для него не существовало ни поля, ни леса, ни опасности заблудиться. Я пытался запоминать деревья: берёза с раздвоенным стволом, ель с сухой нижней веткой, рябина, облепленная тёмными ягодами. Я делал это не из любви к природе. Лес пугал меня тем, что умел переставлять одинаковые вещи. Стоит отвернуться — и тропа уже не та, дерево не то, всё рядом, а выхода нет.

Я старался идти след в след за отцом, но его шаг был длиннее моего, и мне приходилось то ускоряться, то почти подпрыгивать на корнях. В такие минуты я ненавидел собственный возраст: уже достаточно большой, чтобы не проситься на руки, и ещё недостаточно большой, чтобы идти без усилия. Мать это замечала, но не помогала. Помощь иногда унижает сильнее, чем усталость.

На развилке отец остановился впервые за всё утро.

Две тропы расходились почти одинаково. Правая была шире, прямее, на ней чаще ходили. Левая пряталась под хвоей и молодым кустарником. Мать подошла к отцу и тихо сказала:

— Левее.

Она сказала это не как просьбу. Скорее как человек, который вспомнил то, чего вроде бы не мог знать. Отец посмотрел на неё, коротко кивнул и свернул на узкую тропу.

Мне стало холоднее не от тумана, а от уверенности, с какой она выбрала. Я не помнил, чтобы мы ходили этой дорогой прежде. Отец, кажется, тоже не ждал от неё подсказки. На короткое мгновение между ними возникло что-то безмолвное, давнее, и я впервые подумал: у родителей могла быть жизнь до меня, с дорогами, о которых я ничего не знаю.

— Почему не по широкой? — спросил я и сразу пожалел: вопрос прозвучал слишком детски.

— Прямое не всегда лучшее, — сказал отец. — Бывает, прямой путь ведёт прямо в яму. А обходной, хоть и длиннее, идёт вокруг неё.

Он не обернулся. Слова ушли вперёд вместе с его спиной, и мне пришлось идти за ними. Тогда я не стал искать в них большого смысла. Просто запомнил — как иногда запоминаешь запах, не зная, в какой день он вдруг вернёт тебе целую жизнь.

Лес кончился резко. Мы вышли на голый подъём, и свет сразу стал шире, холоднее. Туман остался ниже, в долине, разостланный над невидимой рекой. Над ним тянулась бледно-жёлтая заря — не праздничная, не алая, а осенняя, водянистая, как тёплая вода в белой чашке. Мы поднялись на гребень холма, и там я увидел город.

Он лежал внизу полукругом, прижатый к изгибу реки. С высоты он казался не настоящим городом, а вырезанной из картона моделью: маленькие крыши, прямые улицы, две колокольни, тонкие, как гвозди, вбитые в серое небо. Сначала вид успокаивал. Всё было на своих местах, всё подчинялось порядку. Но чем дольше я смотрел, тем сильнее меня тревожила эта неподвижность. Из труб не шёл дым. На улицах не двигались люди. Не было телег, лошадей, голосов. Только крыши, туман и слишком правильная тишина.

И всё-таки я не мог оторвать от него глаз. Тревога притягивает не слабее красоты. Чем неподвижнее казался город, тем настойчивее хотелось разглядеть в нём хоть одно движение: фигурку у колодца, дымок, лошадиную голову, вывеску, птицу на крыше. Но он терпел мой взгляд и ничего не отдавал, как человек, который уже знает твоё имя, но не собирается назвать своё.

Дым — вот чего мне не хватало. Всякий город, даже самый бедный, просыпаясь, прежде всего дымит: печи, кухни, кузницы, сырые дрова, утренний хлеб. Здесь же крыши молчали. От этой бездымности город казался не мёртвым, нет, а задержавшим дыхание. Будто он видел нас на холме раньше, чем мы увидели его внизу.

— Вон там, — сказал отец и указал палкой на восточную окраину. — Видишь мост через речку? За ним улица к площади. Дойдём туда, там скажут, куда дальше.

Мне стало легче от этих последних слов: «там скажут». Не потому, что они объясняли путь, а потому, что не требовали знать его целиком. Иногда человеку достаточно следующего поворота. Всё остальное может оставаться в тумане до тех пор, пока ты не подойдёшь ближе.

Мать стояла рядом и смотрела вниз. Лицо её было спокойным, почти закрытым. Потом она взяла меня за руку — крепче, чем утром у болота, но всё ещё не больно. Это было не утешение и не страх. Скорее договор: мы идём туда вместе, но каждый несёт свою часть молчания сам.

Мы начали спускаться. Склон был каменистый, ноги скользили, туман поднимался нам навстречу мокрыми клочьями. Сквозь него уже проступали крыши, окна, тёмная линия дороги. Где-то внизу ударил колокол — один раз, негромко, будто пробуя голос. Собака снова залаяла, теперь ближе.

Я тогда ещё не знал, чем окажется для нас этот город. Не знал, что бывают места, куда приходишь не потому, что выбрал, а потому, что вся прежняя жизнь незаметно вытолкнула тебя к их воротам. Я только спускался вслед за отцом и матерью и снова задавал себе вопрос, на который никто утром не ответил: куда мы идём?

Теперь я понимаю, что спрашивал не только о направлении. Ребёнок всегда спрашивает «куда», когда на самом деле хочет спросить: что со мной будет? Отец мог бы назвать улицу, дом, фамилию человека, к которому мы шли, — и всё равно вопрос остался бы. Дорога не кончается знанием названия. Она кончается только тогда, когда человек соглашается с тем, кем станет в конце пути.

Пока вопрос оставался, дорога не кончалась.

Глава 2. Дом с глухими окнами

Склон, по которому мы спускались, был уже не дорогой, а долгим вступлением в город. Сверху он казался положенным на дно долины рисунком: несколько крыш, башенка, дымоходы, тонкие улицы, перерезанные туманом. Вблизи всё это теряло игрушечность и становилось тяжёлым: камень под ногой, мокрая щепка у канавы, глухая стена без окон, низкий карниз, на котором держалась вчерашняя грязная наледь.

Первое, что меня насторожило, были трубы. Они торчали из крыш пустыми, чёрными, без малейшей сизой жилки дыма. В такое утро дым обязан был быть: хоть тонкий, хоть рваный, но живой. Он должен был подниматься над каждым домом, цепляться за туман, пахнуть углём, сырыми дровами, человеческим жильём. Здесь же крыши молчали. Туман лежал между ними плотными полосами, но дым пробил бы и его. Значит, печи не топили; или топили где-то глубоко, скупно, почти тайно; или город ещё не проснулся — хотя по времени давно уже должен был.

Улицы встретили нас не пустотой, а каким-то недосказанным присутствием. Слышалось многое: скрип двери, тонкий визг колеса по булыжнику, лай собаки во дворе, короткий женский оклик из-за ставней. Но каждый звук появлялся отдельно, как случайная птица в белой мгле, и тут же исчезал, не подхваченный другим. В деревне тишина бывает цельной; в городе она всегда сшита из множества мелких шумов. Здесь же эта ткань была прорежена, будто из неё вынули половину нитей.

Отец шёл впереди так уверенно, словно возвращался туда, откуда когда-то ушёл. Он не спрашивал дороги, не присматривался к вывескам, не останавливался у перекрёстков дольше, чем на один вдох. Только иногда поворачивал голову, отмечая что-то одному ему видимое: изгиб водосточной трубы, косой фонарь, облезлую синюю дверь, пятно извести на углу. Мать держалась ближе к стенам. Её узелок был прижат к груди обеими руками; платок надвинут низко, почти на брови. Она не боялась явно, но всё в ней стало осторожнее: шаг, плечи, даже дыхание.

— Праздник у них, — сказал отец, не оборачиваясь.

Он произнёс это не весело и не удивлённо, а так, будто называл условие, с которым придётся считаться: дождь, мороз, плохая дорога, праздник. Я прислушался. Далеко впереди действительно дрожал свет, не похожий на обычные утренние огни. Потом из тумана выплыла скрипка — одна нота, протянутая слишком долго и чуть фальшиво; за ней послышался чей-то голос, певший бодрую песню без бодрости. Слова до нас не долетали, только ритм, да и тот ломался о стены.

Площадь раскрылась неожиданно, как дверь, которую не заметил в белой стене. Она была не очень велика, но после тесных улиц показалась просторной. По краям стояли торговые ряды: деревянные прилавки под мокрыми тентами, корзины, бочонки, мешки, кадки, верёвки с бумажными фонариками. Фонарики горели ещё слабо, стыдливо, будто их зажгли раньше времени и теперь забыли погасить. На влажном булыжнике их свет лежал жёлтыми пятнами, похожими на разбитые желтки.

Людей было меньше, чем требовала площадь. Я никогда не бывал на большом городском празднике и всё же сразу понял: не хватает тесноты, локтей, смеха, ругани, горячего торга, того живого беспорядка, без которого ярмарка похожа на приготовленное, но не съеденное угощение. Здесь ходили не толпы, а отдельные фигуры. Две женщины переговаривались у ряда с пирогами; старик в высокой шапке трогал кочергой угли под чугуном; мальчик держал за верёвку козу и смотрел не на козу, а поверх людских голов, туда, где туман закрывал дальнюю улицу. Музыканты в углу играли больше по обязанности, чем для веселья. Пальцы их двигались ловко, а лица оставались неподвижными, деловыми.

На одном прилавке лежали пряники в виде птиц, уже подсохшие по краям; на другом — ленты, дешёвые бусы, гребни из жёлтой кости. Женщина с крашеным ртом зазывала покупателей, но голос её обрывался после каждой фразы, будто она сама не верила, что кто-нибудь подойдёт. Над всей площадью висело чувство ожидания: всё расставлено, всё назначено, всё вот-вот должно начаться — и почему-то не начинается.

Отец оглядел площадь одним быстрым взглядом и сразу свернул в сторону, подальше от рядов.

— Сначала двор, — сказал он. — Потом всё прочее.

Это было на него похоже: прежде крыша, вода, место для вещей; потом разговоры, дела, любопытство. Я хотел спросить, к кому мы приехали и зачем, но вопрос так давно ходил внутри меня без ответа, что успел устать и сам. Мы миновали край площади, прошли под мокрой верёвкой с фонариками и вошли в улицу, где праздник кончался сразу, как кончается сцена за кулисной занавесью.

Здесь дома стояли плотнее, старше, темнее. Окна были занавешены; кое-где за стеклом двигалась лампа, рука, тень головы. Камень сменялся деревом без порядка: кирпичный низ, деревянный верх; арка между домами; лестница с улицы прямо на второй этаж; водосток, перевязанный проволокой. Из одной двери пахло кислым тестом, из другой — конским потом. Где-то в глубине двора ударили по ведру, и звук этот долго катился между стенами, пустой и звонкий.

Дом, у которого остановился отец, я узнал бы потом среди сотни, но в первый миг он не казался особенным. Три этажа, тёмный фасад, отбитая штукатурка, широкие каменные ступени, вытертые посередине до мягкой ложбины. Над дверью висела вывеска: «Постоялый двор. Комнаты. Обеды». Буквы облупились; слово «комнаты» почти распалось, будто само не было уверено, что внутри ещё есть комнаты, а не одни коридоры и чужие сны.

И всё-таки дом смотрел.

Не приветливо и не враждебно — глухо. Нижние окна были завешены плотными шторами; за ними теплился жёлтый свет, но стекло ничего не выпускало наружу. На втором этаже занавески висели неровно, оставляя узкие тёмные щели. На третьем одно окно было приоткрыто, несмотря на холод; в нём виднелась только внутренняя чернота рамы и кусок серого неба. Дом не казался заброшенным. Наоборот: в нём жили, ели, спали, переговаривались, скрипели половицами. Но его окна не участвовали в жизни улицы. Они были глухи, как у человека, решившего больше не отвечать на вопросы.

Отец остановился на нижней ступени и выпрямился. За весь день он ни разу не выглядел настолько усталым, как теперь, когда попытался эту усталость скрыть. Он поправил ворот пальто, провёл ладонью по бороде, посмотрел на дверь не снизу вверх, а прямо — как на равного. Мать, наоборот, чуть отступила за его плечо. Я видел только край её щеки и пальцы, побелевшие на узелке.

Запах ударил раньше, чем открылась дверь: варёное мясо, мокрые валенки, угольная копоть, кислые щи, сушёные травы, старое дерево, человеческая теснота. Ничего приятного в нём не было, но он оказался странно утешительным. После дороги, тумана и молчаливых труб этот запах доказывал: внутри есть тепло, люди, ложки, постели, вода в ведре. Дом мог сколько угодно смотреть глухо — он всё же был домом.

Отец постучал. Не громко; так стучат не к начальству и не к чужим богачам, а туда, где за дверью должны понять обычную человеческую нужду. Ответа не было, но внутри что-то шевельнулось: заскребла ножка табурета, звякнула посуда, кто-то негромко кашлянул. Отец подождал, затем толкнул дверь. Она подалась легко, будто держалась не на замке, а на приличии.

Нас принял узкий коридор. Слева горела большая комната: оттуда тянуло жаром, луком, капустой, квасом и мокрой шерстью. Справа сразу начиналась лестница, крутая и тёмная.

На стенах висели дешёвые литографии, образа в почерневших рамках, пучки сухой травы. У самого порога пол был натёрт грязью до блеска; дальше темнота сгущалась, как вода в глубоком колодце.

Дверь за нами закрылась сама, с тяжёлым вздохом пружины. Шум площади отсекло. Скрипка, голоса, праздник — всё осталось за деревянной створкой, будто там, снаружи, был не город, а дурной сон, который прекращается, стоит открыть глаза.

— Эй, хозяйева, — позвал отец.

Из тени под лестницей отделился человек. Сначала я принял его за висящее пальто или за швабру, прислонённую к стене; потом тень вытянулась, повернула голову и шагнула в свет. Это был долговязый парень лет шестнадцати, босой, в холщовой рубаше, с красными от холода ступнями. Волосы у него торчали во все стороны, лицо было широкоскулое, сонное и вместе с тем настороженное. Он окинул нас быстрым взглядом — отец, мать, я, узел, дорожная пыль — и крикнул вверх:

— Матрёна Игнатьевна!

В этих двух словах было всё: пришли, разберитесь, я не виноват, я только позвал.

Лестница ответила тяжёлым быстрым топотом. Где-то наверху стукнула дверь, задела ведро или кочергу, кто-то коротко выругался не для нас, а для порядка. Потом на повороте показалась женщина.

Она не спускалась — будто возникала из самой лестницы, из её тёмного дерева и старого скрипа. Невысокая, крепкая, в тёмном платье и рабочем шерстяном платке, она держалась так, как держатся люди, привыкшие занимать ровно столько места, сколько нужно, и ни пяди уступать без причины. Лицо у неё было широкое, с твёрдым подбородком и тонкими губами. Глаза в полумраке казались серыми, но цвет был не важен: важно было то, что они смотрели прямо и ничего не пропускали.

Сначала она посмотрела на отца — коротко, оценивая не одежду даже, а тон, с которым он вошёл. Потом на мать: узел, платок, усталые плечи. На мне её взгляд задержался дольше. Не с жалостью и не с любопытством — скорее с неприятным, почти деловым узнаванием, как если бы я напоминал ей кого-то, кого она не хотела называть.

— Здравствуйте, — сказала она.

Голос у неё был низкий, грудной, без всякой ласки, но и без холода. Таким голосом можно было успокоить ребёнка, выгнать пьяного, назначить цену, велеть снять сапоги у печи — и всё прозвучало бы одинаково естественно.

Отец кивнул ей, делая полшага вперёд. Мать поправила платок, хотя он и так сидел ровно.

— Проходите, — сказала Матрёна Игнатьевна. — На пороге нечего стоять. Народу нынче хватает, да место найдём. Коли платить будете — всем место найдётся.

Последняя фраза вышла без жадности, почти без выражения: просто закон дома, такой же несомненный, как то, что в печь кладут дрова, а на ночь запирают дверь. Она отступила, пропуская нас глубже в коридор.

Мы прошли мимо открытой комнаты. За длинными столами сидели люди: купцы, подмастерья, двое солдат в поношенных гимнастёрках, женщина с ребёнком на коленях. Ели молча или говорили вполголоса. При этом несколько мест оставались накрытыми и пустыми: перевёрнутые тарелки, чистые ложки, стаканы без воды. От этих свободных мест мне стало не по себе. Казалось, стол накрыли на тех, кто задержался в дороге, хотя все уже знали: они не придут.

— Комнату вам? — спросила хозяйка, останавливаясь у лестницы. — На троих или...

Она снова посмотрела на меня и не договорила.

— Парню отдельно бы, — тихо сказала мать.

Сказала так, будто просила не удобства, а дозволения признать очевидное: я уже вырос настолько, что не должен ночевать у них под боком, и всё же ещё недостаточно вырос, чтобы это не тревожило её. Отец промолчал. Его молчание означало согласие.

— Отдельно так отдельно, — решила Матрёна Игнатьевна. — Вам второй этаж. Ему третий. Там тише.

Мы пошли за ней. Лестница сразу взяла нас в свой скрип. Перила были гладкими от тысяч ладоней; ступени посередине продавлены; на каждом пролёте висела какая-нибудь мелочь: потемневший образ, запотевшее зеркало, лубочная картинка с ярмарочным всадником, у которого давно стёрлось лицо. Снизу поднимался запах пищи и тепла, но с каждым поворотом он слабел, уступая место сырому дереву, пыли и холодной штукатурке.

Я считал ступени — не нарочно, а потому что в незнакомых домах мне всегда хотелось найти хоть какой-нибудь порядок. На пятнадцатой доска проваливалась глубже прочих; на двадцать первой в стене шла трещина, похожая на ветку без листьев; на двадцать седьмой сквозняк касался щеки, хотя окон рядом не было. И чем выше мы поднимались, тем сильнее становилось странное чувство: не я узнаю этот дом, а дом вспоминает меня. Его запах, его темнота, его узкие повороты не открывались мне впервые; они будто подступали из какой-то далёкой, ещё бессловесной памяти.

На втором этаже хозяйка отперла комнату направо. Родители вошли туда. Я успел увидеть две кровати, стол под окном, чистый, хотя и вытертый половик, умывальный кувшин с синей трещиной на боку. Окно выходило на улицу; за ним висел фонарь, размазанный туманом, и ветка дерева билась о стекло, как палец.

— Вам здесь, — сказала хозяйка. Потом, уже отцу: — А парню выше. Ничего?

— Ничего, — ответил он. — Уже не малый.

Слова были обычные, даже добрые, но во мне от них что-то дрогнуло. Не обида; скорее внезапное понимание, что взрослость иногда приходит не как право, а как выселение. Ещё утром я проснулся в доме, где знал каждую половицу. Теперь меня вели на третий этаж чужого постоянного двора, в комнату, которую я должен был принять как свою хотя бы на одну ночь.

Мать хотела что-то сказать, но не сказала. Только коснулась моего рукава — быстро, почти тайком, двумя пальцами. Это прикосновение оказалось теплее всех печей в доме.

Мы поднялись ещё выше. Здесь было холоднее. Свет, просачивавшийся через закопчённое оконце над лестницей, не освещал, а лишь обозначал предметы: перила, стену, плечо хозяйки, кольцо ключей в её руке. Ключи звенели тихо, сухо, как маленькие колокольчики под тряпкой.

— Тут у нас народ спокойный, — сказала Матрёна Игнатьевна. — Кто поярмарочнее, тем ниже. А здесь свои, тихие.

Слово «свои» зацепилось во мне. Я хотел спросить, кто эти свои и чем я уже успел стать им, если меня только что привели с дороги. Но в чужом доме вопросы быстро стареют во рту. Я промолчал.

Она остановилась у двери с жестяным номером: 23. Цифры были прибиты неровно; двойка чуть съехала вниз, тройка держалась на одном гвоздике и оттого казалась готовой отпасть. Дверь была тёмная, шершавая, со следами прежних замков. На уровне плеча белело пятно, будто кто-то много лет прислонялся здесь к дереву лбом или ладонью.

Матрёна Игнатьевна выбрала маленький ключ, почти игрушечный. Замок щёлкнул чисто, неожиданно молодо для такой старой двери. Она толкнула створку внутрь.

Комната раскрылась не светом, а запахом: сырое дерево, свечной огарок, простоявшее бельё, холодная зола, и ещё что-то слабое, неуловимо знакомое — как от страницы, на которую давно пролили чай и потом сушили у печки. Внутри было темно; только окно серело прямо-угольником, и в этом сером пятне плавал туман.

— Ну, заходи, — сказала хозяйка. — Комната как комната. Ночь переночуешь — утром привыкнешь.

Она говорила без насмешки. Наверное, она видела десятки людей, которые останавливались на пороге чужой комнаты так, будто им предлагали не кровать на ночь, а новую судьбу. Я поднял свой чемодан обеими руками, чтобы он не стукнул о косяк, и вошёл.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.